

## Глава I. Детство

Мой отец родился предположительно в 1910 году в г.Мозыре (Белоруссия) в тогдашней Полесской губернии Российской Империи – в семье купца первой гильдии, лесопромышленника, Соломона Абрамовича Мостовлянского. Мой дед ворочал тогда миллионами, но тем не менее, всё время балансировал на грани банкротства – так, по крайней мере, ему казалось. Поэтому, несмотря, на владение несколькими фабриками по обработке древесины и домами в Мозыре, Пинске и Варшаве, он держал свою семью – жену и двоих сыновей, что называется «в чёрном теле». Они обходились без прислуги (не считая кухарки и приходящей уборщицы), дед выделял моей бабушке на ведение хозяйства, одежду, питание и т.д. буквально гроши. Детей своих – в особенности моего отца – он считал обузой и лишними ртами, и мечтал, как бы поскорее их «пристроить к делу». Его постоянный страх разорения был воистину параноидальным и выходил уже за границы нормативной психики. Он обожал свою жену, но отчаянно ревновал её каждому встречному, устраивал сцены ревности – а возвращаясь из многодневных инспекционных поездок по своим предприятиям, учинял настоящие допросы с пристрастием. Однажды он даже приревновал её к своему младшему брату Якову. Впрочем, для этого, были основания: весёлый и обаятельный студент-медик Лейпцигского Университета значительно выигрывал перед своим вечно угрюмым и невежественным братом. Бабушка же была глубоко

образованной женщиной – выпускницей Высших женских Бестужевских курсов в Петербурге, профессиональной гебраисткой, свободно владевшей по крайней мере 8-ю европейскими и древними языками. Она переписывалась с Бяликом, Шолом Алейхемом, Моше Шлэнским и другими видными деятелями еврейской культуры. В Петербурге она познакомилась с Александрой Коллонтай, с которой переписывалась до самой смерти последней. Отец бабушки, видный адвокат Самуэль Штилерман, был родом из Австро-Венгрии. Он был также образованнейшим человеком своего времени, но его финансовые дела пришли в упадок, и он настоял на браке своей дочери с богатым, но малообразованным купцом.

Вскоре началась Первая мировая война. Сначала «нагрев руки» на поставках леса для нужд армии, мой дед, вскоре потерял большую часть своего состояния, поскольку война происходила именно в тех местах, где были расположены его предприятия. Затем грянул Октябрьский переворот, и всё его оставшееся имущество – фабрики и дома – были «экспропрированы» большевиками или просто ограблены бандитами. Наступило то самое разорение, которого он так боялся всю жизнь. Но как это ни странно, дед не лишился рассудка, а просто выгнал своих сыновей из дому – вернее, послал их «на заработки». Мой отец – тогда слабый, астеничный и перенесший туберкулёз лёгких мальчик – оказался на улице. Бушевала гражданская война. В Белоруссии царил голод. Евреи бежали кто куда – в основном, в «хлебную» Украину, но там их ждали толпы погромщиков и шайки бандитов всех мастей. Была зима. Лютовал мороз. Как-то мой отец - уже вполне законченный беспризорник – зашёл в трактир согреться. Там в это время пиновала какая-то воровская шайка. Но вдруг начался «шмон» - то ли милиция, то ли полиция (не могу сказать точно) нагрянули в трактир и арестовали всех присутствующих – включая и моего отца. Пожалев по малолетству, его не отправили в тюрьму, но определили в какой-то приют для беспризорников. Он пробыл там, к счастью, недолго – уж не знаю каким чудом, но его разыскал родной дядя – брат моей бабушки, антрепренёр еврейского театра Макс фон Штилерман (приставку «фон» он придумал для пущей важности) – и забрал его к себе в Варшаву. Родители же и брат моего отца в это время бежали в Екатеринослав (Днепропетровск). В 1920 году Ленин подписал «Декрет о Независимости Польши», и государственная граница пролегла между моим отцом, оказавшимся в Польше, и его родителями, осевшими на Украине.

## Глава II. Варшава

Об этом периоде жизни моего отца мне известно очень немного. Его дядя – холостяк, гедонист и эпикуреец, театральный кумир местных евреев Макс фон Штилерман – вёл богемный образ жизни. Женщины, гулянки, пирушки. Для заботы о племяннике он нанял польскую крестьянку Ядвигу, которая выполняла все возможные обязанности по дому: кухарки, судомойки, уборщицы, няни и даже казначея. Кончилась война, Польша возрождалась из пепла – впервые за сотни лет она обрела независимость. Начался бурный рост промышленности, строительства, развития науки и культуры. Но наряду с положительными изменениями в новоявленной «Речи Посполитой» стал наблюдаться рост национализма, который выражался прежде всего в антисемитизме. Обретя независимость, всю свою вековую ненависть к русским поляки теперь перенесли на евреев – ведь России как таковой уже не было (а было непонятное гигантское и аморфное образование под названием СССР), и таким образом, вроде бы, внешний враг исчез. В таких случаях, просвещённые народы Европы, как правило, начинают искать внутреннего врага – и очень быстро его находят, – ибо евреи всегда под боком и тут как тут.

Поступив на учёбу в одну из варшавских гимназий, мой отец очень скоро ощутил на себе всю силу буквально животной польской юдофобии. Так получилось, что он был единственный «жид» в классе – да к тому же еще тщедушный, рыжий, плохо говорящий по-польски. Стоит ли говорить, как ему доставалось от представителей «титульной нации». Но вместе с тем крепили его кулаки и воля, стремление достигнуть успеха. Он начал задумываться о профессии врача. Вскоре ему повезло – у него нашёлся защитник – здоровенный польский парень по имени Станислав – который повёл его на секцию бокса (впоследствии этот парень стал известным польским писателем Станиславом Дыгатом: в своём романе «Прощание» он упомянул и моего отца, правда, не по имени – но образ рыжего еврейского паренька вполне узнаваем). Дядя Макс меж тем процветал – его театр пользовался популярностью, спектакли на идиш шли «на ура», с полным аншлагом: польский антисемитизм, как бы сплавивал евреев вокруг их национальной культуры, и театр на какое-то время отвлекал их от окружающей ненависти и безысходности.

Но вот гимназия позади. О поступлении в университет в Варшаве не может быть и речи: у евреев просто не принимали документы. На дворе 1929 год, Дядя деятельно готовится к гастроллям в Берлине, Гамбурге, Франкфурте. И тут он произносит магическое слово: «Гейдельберг». Да,

его племянник поедет учиться в Гейдельберг – в самый старинный немецкий университет. Довольный идеей и собственным великодушием, Макс-Ицхак-Лейб «фон» Штилерман, еврейский трагикомический актёр и антрепренёр, объявляет о своём решении племяннику. Ядвига приносит бутылку шампанского – «пробка в потолок», и ликование нет конца.

### Глава III. Гейдельберг

Живописный и удивительно романтичный городок, расположенный на берегах широкой и спокойной реки Неккар, невысокие холмы, покрытые дубовыми и сосновыми рощами, готические замки и старинные здания, уютные улочки, сияющие чистотой, немецкий «орднунг» и размеренный образ жизни буквально очаровали моего отца. В те годы для обучения в университете не требовались вступительные экзамены – было вполне достаточно собеседования и гарантий того, что студент в состоянии оплатить свою учёбу. Рыжеватый блондин с голубыми глазами и почти «арийскими» чертами лица, мой отец вполне «вписался» в кружок немецкой студенческой молодёжи. О его еврейском происхождении никто и не догадывался – все знали, что он приехал из Варшавы – значит, поляк. А библейское имя Самуэль часто встречалось среди верующих немецких протестантов. С немецким у него не было проблем – его мама, моя бабушка, в совершенстве владела этим языком и успела передать свои знания сыновьям. Отец учится с огромным рвением, практически не участвуя в разгульной жизни вольной немецкой молодёжи. Он снимает небольшую мансарду неподалёку от университета, подрабатывает частными уроками – преподаёт латынь и древнегреческий детям богатых горожан, дающих своим отпрыскам домашнее образование. Так он знакомится с весьма состоятельной еврейской семьёй Фридлиндеров.

Глава семейства Теодор-Генрих Фридлиндер – финансист и банкир, один из держателей акций «Дойче-Банка», по состоянию здоровья удалился на покой в своё имение неподалёку от Гейдельберга и жил исключительно на ренту. Он поздно женился – в 40 лет, его жена была на 20 лет моложе. Произведя на свет двух дочерей-погодков, они решили остановить дальнейший процесс производства потомства. Дочери – старшей из которой, Элизабет, исполнилось 18, а младшей – Ирен – 16 – были на удивление разными. Элизабет была настоящей еврейской красавицей – этакая библейская Юдифь: статная, с вьющимися иссиня-чёрными волосами, голубыми глазами и волевым лицом. Ирен была её полной

противоположностью – субличная, анимичная, со светлыми волосами, мягкими чертами лица и огромными карими глазами. Элизабет была порывиста и насмешлива. Ирен – застенчивая тихоня, с постоянным выражением меланхолии. Она всё время ёжилась – как будто испытывала постоянный озноб. Их отец решил дать девочкам домашнее образование, приглашая различных учителей. Непонятно, почему он решил, что им нужны латынь и древнегреческий. На объявление, данное в местной газете, явился только один претендент – мой отец. И тут же был «принят».

Семейство Фридендеров придерживалось строгих правил, и уроки происходили в присутствии фрау Мириам – матери девушек. Мой отец этому был даже рад – он не был искущён в «сердечных делах» и, скорее всего, чувствовал бы себя наедине с ученицами весьма скованно. Но несмотря на строгий контроль, мой отец стал замечать, что тихоня Ирен начинает краснеть в его присутствии, а насмешница Элизабет, перехватывая её взгляд, деланно прикладывает ладонь к сердцу, и подмигивает «учителю». Началась пора влюблённостей.

#### **Глава IV. Рождество**

Начиная с какого-то момента, покидая дом Фридендеров, отец с нарастающей силой начал ощущать в себе прежде неизвестное ему чувство, подобное тому, как будто он что-то забыл, и ему непременно необходимо за этим вернуться. Возвращаясь в свою мансарду, он не находил себе места. Что-то новое, таинственное, пугающее и неизведанное вошло в его жизнь. Он вдруг настолько болезненно стал осознавать своё одиночество, что прежнее его существование становилось всё более невыносимым. Образ этой странной, хрупкой и в общем-то невзрачной девушки настолько заполнил всё его сознание, все его мысли и желания, что вскоре это превратилось в настоящее помешательство. Он выводил её имя на запотевшем оконном стекле, повторял его шепотом и вслух, писал на клочках бумаги. Потребность видеть её, любоваться чертами её лица, бледной кожей, грустной улыбкой, глубоко посаженными карими глазами буквально превратилась в навязчивую идею. Но ему хотелось много большего – слиться с ней воедино, стать чем-то целым и неделимым, и никогда не расставаться с нею – ни на миг. Это было больше, чем любовь – это было самосожжение...

В свои 22 года он, разумеется, не был девственником – но все свои прежние интрижки, в основном навязанные ему дядей Максом в качестве

«развития мужских качеств», он вспоминал со стыдом и отвращением. Ирен же явилась для него недостижимым символом нравственной и физической чистоты, главным и единственным смыслом его жизни, его alter ego. Но возможность видеть её, разговаривать с ней, ощущать её присутствие ограничивалась лишь уроками, которые проходили два раза в неделю по одному часу. По окончании урока, горничная молча провожала «учителя» до дверей. Ему ни разу не предложили остаться – ни на обед, ни на чай.

Фридлендеры жили довольно замкнуто – глава семьи был уже не очень молодым и не очень здоровым человеком, тяготеющим к тишине и уединению. Знакомых в Гейдельберге у них было немного – прежде, когда хозяин дома был действующим исполнительным директором банка, они жили во Франкфурте-на-Майне. Здесь же в круг их общения входили лишь семейный доктор, да несколько профессоров и преподавателей университета. Но приближалась Ханука, а за ней Рождество (как все ассимилированные немецкие евреи, Фридлендеры праздновали как еврейские, так и христианские праздники). И когда фрау Мириам милостиво пригласила «учителя» почтить их своим присутствием на Рождество, он был на седьмом небе от счастья.

Вскоре богатый дом наполнился светом ханукальных свечей, запахом свежих пончиков («суфганиёт»), ароматом хвои рождественской ёлки. 25 декабря 1932 года мой отец впервые переступил порог этого дома не как репетитор, а в качестве званого гостя. Зала была полна народу, сновали слуги, слышался смех, звон бокалов, звуки рояля... Едва отец появился в гостиной, раскрасневшаяся и сверкающая белозубой улыбкой Элизабет выбежала ему навстречу и со смехом, порывисто обняв его, тут же скрылась в толпе гостей. Шлейф её поклонников устремился за нею. Отец искал глазами Ирен, но её нигде не было. Зажав в руке бокал с шампанским, он, как сомнамбула, бродил среди гостей...

...Почувствовав лёгкое прикосновение, он едва не выронил бокал из рук. Ирен стояла рядом – удивительно весёлая и живая. Он даже представить себе не мог, что она способна так улыбаться: она буквально вся светилась и излучала счастье. Он вдруг с удивлением подумал, что она безумно красива - но той особой, тонкой и хрупкой красотой, которую далеко не каждому дано разглядеть. Взяв его за руку, Ирен тихо прошептала: «Пойдём!» Они вышли из залы и, пройдя через анфилады комнат, очутились в странном полутёмном помещении с зелёными шёлковыми обоями, на полу которого были свалены многочисленные ковры, а вдоль стен стояла старая мебель – сломанные стулья,

запылённый трельяж, кушетка с разорванной драпировкой, бронзовые статуи, канделябры...

Ирен взяла бокал из рук «учителя», выпила его залпом и опустилась на кушетку... Они долго сидели молча, держась за руки и прямо глядя в лицо друг друга – глаза в глаза... Неожиданно Ирен прервала молчание и почти шепотом полувопросительно произнесла: «Да?» «Да» - также тихо прошептал он. И наступило сладкое безумие. Всё происходило, как во сне. Бесконечная волна нежности, счастья, отчаяния, страха, боли, горечи, одиночества захлестнула их обоих. Они со стоном катались по полу, сжав друг друга в объятьях и сцепившись губами, урчали, как изголодавшиеся псы, но никак не могли насытиться друг другом... Это было помешательство. Амок. Апофеоз. Катарсис...